



А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ

**МОЙ
ЛЮБОВНЫЙ
ДНЕВНИК**

FLEGON PRESS

**А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ
МОЙ ЛЮБОВНЫЙ
ДНЕВНИК**

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

**МОЙ ЛЮБОВНЫЙ
ДНЕВНИК**

**FLEGON PRESS
LONDON
1966**

»МОЙ ЛЮБОВНЫЙ ДНЕВНИК«

“MY DIARY OF LOVE”

©

COPYRIGHT “FLEGON PRESS”, 1966

24 Chancery Lane, London, W.C.2.



*Printed in the United Kingdom for Flegon Press
by Multilingual Printing Services,
200 Liverpool Road, London, N.1.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Наша жизнь — простыня да кровать.

Наша жизнь — поцелуй да в омут.

С. Есенин — Пой же, пой!

В настоящее время, т. е. в 1966 году Андрей Вознесенский — самый популярный советский поэт. Его популярность объясняется двумя причинами: Андрей Вознесенский — первый советский поэт, который после сталинских чисток 1937-го года, предпочитает писать о «плотской», а не о «платонической» любви. Он не только предпочитает писать такие стихи, но и умудряется печатать их в советской прессе. Написанные любым другим поэтом такие стихи были бы беспощадно вырезаны цензурой. Вознесенский умеет протаскивать их через цензуру, прикрывая свои ясные стихи неясным смыслом всей поэзии, т. е. просто дезориентируя цензоров (да не только цензоров).

Поэма «Последняя электричка» посвящена советским проституткам. Вряд ли цензор понял это, когда она была напечатана. В сборник 1964-го года «Антымиры» она не вошла; видно цензура спохватилась. (К счастью, для читателей, довольно поздно).

Официально в СССР нет больше ни воров, и ни проституток, хотя воры могут и попадаться, как исключительный случай. Однако, в упомянутой поэме Вознесенский утверждает открыто, что вагоны позднего поезда переполнены ворами и проститутками, которые едут по домам на ночлег (кругом гудят гитары и воры... у них свои ремесла, они сто раз судились, плевали на расстрел).

Вознесенский не упоминает слова «проститутка», потому что и недалекому цензору стало бы все понятно. Он путает его, говоря о «девушке». На самом деле здесь речь идет о двух девушках, — одна, о которой он читает стихи, а другая, которая слушает о первой. Эта вторая имеет свое ремесло, которое не упоминается. Слова ее не воспроизведены, потому что «нецензурные». Она «с чёлкой и пудрой в сантиметр». Ее общество — это «Малаховские ребята» (Малаховка соответствует Лондонскому Сохо, где собираются жулики, воры и проститутки всей страны).

Заключение Вознесенского — необычное и храброе. Для Вознесенского эта проститутка лучше любой «честной» девушки, она чище идеализированной Беатриче.

Такого утверждения не сделал еще ни Евтушенко, ни Мартынов, ни Соснора и ни любой другой советский поэт.

Партия послала Вознесенского в Сибирь познакомиться поближе с великими стройками коммунизма, с доменными печами и прочее.

Вознесенский выполнил задание частично, он подошел вплотную к объектам первой важности, совмещающим величину доменных печей с огнем мартеновских печей, плоды строителей первой после военной пятилетки. Это были голые сибирские бабы (см. Сибирские бани).

До Вознесенского советский читатель привык видеть мастера спорта как героя партии, которого нужно уважать чуть ли не как Бога.

Когда же Вознесенский встретил впервые «мастера спорта Н. Андросову», то он тут же смекнул, что спорт бывает разный. Зачем красивой женщине быть в вертикальном положении, когда многие предпочитали бы ее в горизонтальном. (Я к ней вламываюсь в антракте. »Научи, говорю, — гори-

зонту... «А она молчит, амазонка... а глаза полны такой — горизонтальной тоской!»).

Вознесенского ругали, критиковали, брали на попечение и т. д. и т. п. Ничего не помогло. Решили подкупить и послали его за границу, надеясь, что он напишет о несчастной жизни в капиталистической Италии. Однако, вернувшись оттуда, он нарисовал немного другую картину; из спальни жена выкидывает старого мужа, в ресторане появился какой-то в костюме Адама, везде объявления с адресами милых женщин, все и всюду хохочут; советская делегация, увидав все это, забыла о своих делишках. ... Где-то в России некая Н. ... озябла без Андрея, который с позволения сказать подогревал ее.

А в это время в Риме молодежь, да и не только молодежь »шурь муры, и сквозь юбки до утра... «

Ах, как »светят женские тела«!!!

(Римские праздники).

Какие-то старички щупают Лоллобриджиду
(Антимиры).

Где-то в лесу молодая пара бросила велосипеды и скрылась из виду, а в тайге некая представительница женского пола »отнюдь не монахиня« дрожит в ромашках »как дюймовочка, только кверху ногами«.

Стихотворение »Замерли« в некотором отношении превосходит все другие напечатанные стихи Вознесенского:

На берегу моря, под освещением луны счастливая парочка наслаждается жизнью. Она завела ладони за плечи поэта. Губы дышат над губами. Они заслоняют своими плечами что-то, что возникает между ними. Их тела напряжены до предела. »В порох плещутся стрижи«. Начинается »погруже-

ние«. Все что было тайным становится явным... Но затем, разомкнувши объятия, что-то, но что именно поэт не называет по имени, начинает увядать. Это »что-то« завянет, как бы не гудели раковины и не тосковал бы поэт. Но тем временем »нажимай«. Это »погружает друг в друга«.

Такие стихи не появлялись в советской печати еще с 20-х годов когда Есенин писал:

»Я средь женщин, тебя не первую...
Не мало вас,
Но с такой вот, как ты, со стервою,
Лишь в первый раз«.

(Сыпь гармония)

Или

Мне сегодня хочется очень
Из окошка луну обоссать.

Любой поэт, написавший то что пишет Вознесенский стал бы популярным в Советском Союзе, во-первых, своей новизной, а во-вторых, потому что советские читатели начали ощущать жажду в стихах, касающихся любви к людям, а не к партии и объектам пятилетки.

Жизнь Андрея Вознесенского не посвящена, однако, только женщинам, хотя он воспеваает Зою в Дубне, Беллу в Москве, Ольгу и Ирену в Париже, и молодую даму в Лондоне.

Андрей Вознесенский — символ борьбы против коммунистического строя. Он воспитан на лозунге »Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан«.

Иногда в его поэмах поэзия отсутствует (например, »Секвойя Ленина«), но зато каждая его поэма (кроме любовных), это или удар по режиму, или чаевые для того, чтобы власти прикрыли свои глаза.

Стихи, как «Секвойя Ленина», или «Поэма о Ленине» дадут возможность советской власти похвастаться, что будто Вознесенский «принадлежал нам», а не вам.

Так поступала и поступает партия со всеми популярными советскими поэтами. Когда нужно было доказать, что Пастернак за советскую власть, то цитировалась поэма «Лейтенант Шмидт», когда же его ругали из-за «Доктора Живаго», то об этой поэме все вдруг забыли.

Когда после смерти молодого украинского поэта Симоненко, его рукописи попали на Запад, то всем стало ясно, что он был единомышленником Вознесенского. Несмотря на это, советская пресса продолжала печатать статьи, пытаясь доказать, что мол Симоненко, это «наш» поэт, а не ваш. Упрекая западных издателей за распространение стихов Симоненко, которые не были допущены в советскую печать, Киевская газета «Радянська Україна» кричала во всю глотку: «Он наш, его произведения принадлежат нашему советскому народу, и никому другому!»

Евтушенко говорит в своей автобиографии, что было время, когда стихотворение не печаталось, если в нем не упоминался Сталин. При этом очень часто редакции добавляли эти вставки, даже без уведомления автора. В 60-х годах положение улучшилось, партийная тематика с одноразовым упоминанием покрывает теперь весь сборник, а не лишь одно стихотворение.

Андрей Вознесенский выражает свои политические убеждения довольно ясно. Когда Хрущев обвинял его в формализме, то он назвал Хрущева знатоком пропахнувшим формалином и фимиамом, удаленным от жизни. Наплевать мне на всех знатоков, включая ЦК — был смысл последних трех

строка «Вечера на стройке» (Не пропущенного цензурой для сборника «Антимиры»).

Советский гражданин, это заяц, которого травит партия и КГБ («Травят зайца. Травля! Травля! Только может травим себя?»).

Заяц Вознесенского имеет человеческое лицо, он стонет и издает человеческие крики. Только тупой цензор может сомневаться или не видеть кого имеет ввиду Вознесенский под словом «заяц».

Советский поэт, это американский негр, который борется за свою свободу.

Советский Союз, это Кержацкий мир, где нет теплоты, где постоянный мороз и холод душевный.

Жизнь в СССР, это непрерывная качка — сегодня направо, завтра налево. Сегодня хвалят, а завтра за то же самое бранят. Жизнь в СССР, в «наикачаемом из миров» приводит к сильной тошноте. Здесь даже и от удачи тошнит. Все страдают, всем больно.

Советские критики называли Вознесенского и его приятелей облоймой.

В «Качке» он ответил им ясно: «Ваш еще взвить от последней облоймы...»

Так как некоторые стихотворения практически не имеют содержания (например, «Гоя», это формалистическое стихотворение, которое воспроизводит, по мнению Вознесенского, звук колоколов во время войны), идеологические критики утверждают, что у Вознесенского нет сердца. Поэт ответил стихотворением «Ахиллесово сердце». Стихи были напечатаны частично в Советской прессе. Всех идеологов партии, тюремщиков или полицейских которые хотели бы расправиться с поэтом, по рецепту Суркова, Кочетова и пр. Вознесенский предупреждает не касаться своими «шершавыми руками» так как он, поэт, не один в своей борьбе против Совет-

ской власти, а всех их не покорить: »Не возможно расправиться с нами«.

Поэма »Оза« это любовный дневник автора. Псевдоним Оза дан Зое, бывшей в то время, женой советского ученого (работающего в Дубне в области атомной энергии), приятеля Вознесенского.

Появление поэмы произвело большую сенсацию в Москве, так как Зоя с мужем давались всем как пример здоровой и счастливой советской семьи.

В настоящее время, Зоя — жена неугомонного Вознесенского.

Оза, однако, это не только любовный дневник поэта. Она отражает политическую зрелость поэта.

В поэме чередуются любовные стихи с политической прозой. Это и есть жизнь поэта: любовь и политические рассуждения.

Расшифровка поэмы не очень сложна.

Пародия борьбы против культа личности: »От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Важно сохранить систему. К чему поэзия?«

Глупых идей для экспериментов у советских правителей хоть отбавляй: А если от этого погибнет пол страны, то какое им до этого дело? Правители вкусят »радость эксперимента«.

Члены идеологической комиссии ЦК это стандартные одинаковые создания у которых вместо головы находится нижняя часть тела. А если у кого и есть »голова« то они не отличаются почти ничем от тех у которых ее нет. Такой правительственный президиум орет: »Вперед к новому искусству!« Однако, говорит поэт, ни один из них не знает где перед. Вместо того чтобы идти вперед они идут к тому что находится в туалете. Однако, никто этого не замечает (Никто ничего не замечал. НИКТО).

Псевдопрогресс превратил Россию в »наоборотную страну«. Кругом только рожи. Добрым, милым, самоотверженным людям жить в СССР — мучи-

тельно и опасно. («Они не подозревают что висят на волоске».)

К 50-и летию октябрьской революции Андрей Вознесенский преподносит свой скромный вклад:

»Уничтожив олигархов,

.

Демократией заменишь

Короля и холуя«

Он сказал: »А на х . . у . . я?«

М. В. Нестеров



ОЗА

(Тетрадь, найденная в тумбочке дубенской гостиницы)

* *
*

Аве, Оза. Ночь или жилье,
псы ли воют, слизывая слезы, —
слушаю дыхание Твое.
Аве, Оза . . .

Оробело, как вступают в озеро,
разве знал я »циник и паяц«,
что любовь — великая боязнь?
Аве, Оза . . .

Страшно — как сейчас тебе одной?
Но страшнее — если кто-то возле.
Черт тебя сподобил красотой!
Аве, Оза!

Вы, микробы, люди, паровозы,
умоляю — бережнее с нею.
Дай тебе не ведать потрясений.
Аве, Оза . . .

Умоляю. Жизнь не плодоовоци.
Почему ж шинкуют вкривь и вкось?
Аве, Оза.

Опоздали мы чудовищно.
Но еще чудовищнее — врозь!

Противоположности светло.
Дай возьму всю боль твою и горечь.
У магнита я — печальный полюс,
ты же светлый. Пусть тебе светло.

Дай тебе не ведать, как грущу.
Я тебя не огорчу собою.
Даже смертью не обеспокою.
Даже жизнью не отягощу.

Аве, Оза. Пребывай светла.
Мимолетное непрерывимо.
Не укоряю, что прошла.
Благодарю, что проходила.

Аве, Оза . . .

●

Люблю я Дубну. Там мои друзья.
Березы там растут сквозь тротуары.
И так же независимы и талы
чудесных обитателей глаза.

Цвет нации божественно оброс.
И, может, потому не дам я дуба —
мою судьбу оберегает Дубна,
как берегу я свет ее берез.

Я чем-то существую ради них.
Там я нашел в гостинице дневник.

I

Женщина стоит у циклотрона —
стройно,

слушает замагниченно,
свет сквозь нее струится,
красный, как земляничинка,
в кончике у мизинца,

не отстегнув браслетки,
вся изменяясь смутно,
с нами она — и нет ее,
прислушивается к чему-то,

тает, ну как дыхание,
так за нее мне боязно!
Поздно ведь будет, поздно!
Рядышком с кадыками

атомного циклотрона 3-10-40.

Я знаю, что люди состоят из атомов,
частиц, как радуги из светящихся пылинок
или фразы из букв.

Стоит изменить порядок, и наш
смысл меняется.

Говорил ей — не ходи в зону! —
а она

вздрагивает ноздрями,
празднично хорошея.
Жертво-ли-приношение?
Или она нас дразнит?

Не отстегнув браслетки,
вся изменяясь смутно,
с нами она — и нет ее,
прислушивается к чему-то . . .

»Зоя, — кричу я, — Зоя! . . .«
Но она не слышит. Она ничего не
понимает.

Может, ее называют Оза?

II

Не узнаю окружающего.

Вещи остались теми же, но частицы их, мигая,
изменяли очертания, как лампочки иллюминации
на центральном телеграфе.

Связи остались, но направление их изменилось.

Деревья лежали навзничь, как ветвистые озера,
зато тени их стояли вертикально, будто их выре-
зали ножницами. Они чуть погромыхивали от ветра,
вроде серебра от шоколада.

Глубина колодца росла вверх, как черный сноп прожектора. В ней лежало утонувшее ведро и плавали кусочки тины.

Из трех облачков шел дождь. Они были похожи на пластмассовые гребенки с зубьями дождя. (У двух зубья торчали вниз, у третьего — вверх.)

Ну и рокировка! На месте ладьи генуэзской башни встала колокольня Ивана Великого. На ней, не успев растаять, позвякивали сосульки.

Страницы истории были перетасованы, как карты в колоде. За промышленной революцией следовало нашествие Батыя.

У циклотрона толпилась очередь. Проходили профилактику. Их разбирали и собирали. Выходили обновленными.

У одного уха было привинчено ко лбу с дырочкой посредине вроде зеркала отоларингола. »Счастливчик! — утешали его. — Удобно для замочной скважины! И видно и слышно одновременно.»

А эта требовала жалобную книгу. »Сердце забыли положить, сердце!« Двумя пальцами он выдвинул ей грудь, как правый ящик письменного стола, вложил что-то и захлопнул обратно. Экспериментщик Ъ пел пританцовывая.

»Е9-Д4, — бормотал экспериментщик. — О таинство творчества! От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Важно сохранить систему. К чему поэзия? Будут роботы. Психика — это комбинация аминокислот . . .

Есть идея! Если разрезать земной шар по экватору и вложить одно полушарие в другое, как половинки яичной скорлупы . . .

Конечно, придется спилить Эйфелеву башню, чтобы она не проткнула поверхность в районе Австралийской низменности.

Правда, половина человечества погибнет, но зато вторая вкусит радость эксперимента! . . .«

И только на сцене президиум секции квази-искусства сохранял порядок. Его члены сияли, как яйца в аппарате для просвечивания яиц. Они были круглы и поэтому одинаковы со всех сторон. И лишь у одного над столом вместо туловища торчали ноги подобно трубам перископа.

Но этого никто не замечал.

Докладчик выпятил грудь. Но голова его, как у целлулоидного пупса, была повернута вперед затылком. »Вперед к новому искусству!« — призывал докладчик. Все соглашались. Но где перед?

Горизонтальная стрелка указателя (не то »туалет«, не то »к новому искусству!«) торчала вверх на манер десяти минут третьего. Люди продолжали идти целеустремленной цепочкой по ее направлению, как по ступеням невидимой лестницы.

Никто ничего не замечал.

НИКТО

Над всем этим, как апокалиптический знак, горел плакат: »Опасайтесь случайных связей!« Но кнопки были воткнуты острием вверх.

НИЧЕГО

Иссиня-черные брови были нарисованы не над, а под глазами, как тени от карниза.

НЕ ЗАМЕЧАЛ.

Может, ее называют Оза?

III

Ты мне снишься под утро,
как ты, милая, снишься! . .

Почему-то под дулами,
наведенными снизу,

ты летишь Подмосковьем,
хороша до озноба,
вся твоя маскировка —
30 метров озона!

Твои миги сосчитаны
наведенным патроном,
30 метров озона —
вся броня и защита!

В том рассвете болотном,
где полет безутешен,
но пахнуло полетом,
и — уже не удержишь.

Дай мне, господи, крыльев
не для славы красивой —
чтобы только прикрыть ее
от прицела трясины.

Пусть еще погуляется
этой дуре рисковей,
хоть секунду — раскованно.
Только пусть не оглянется.

Пусть хоть ей будет счастье
в доме с умным сынишкой.
Наяву ли сейчас ты?
И когда же ты снишься?

От утра ли до вечера,
в шумном счастье заверчена,
до утра? поутру ли? —
за секунду от пули.

IV

А может, милый друг, мы впрямь
сентиментальны?
И душу удалят, как вредные миндалины?

Ужели и хорей, серебряный флейтист,
погибнет, как форель погибла у плотин?

Ужели и любовь немодна, как камин?
Аминь?

А почему ж, забыв луга и сосняки,
мы тянемся к стихам, как к травам от цинги?
И радостно и робко в нас души расцветают . . .
Роботы,
роботы,
роботы
речь мою прерывают.

Толпами автоматы
топают к автоматам,
сунут жетон оплаты,
вытянут сок томатный,

некогда думать, некогда,
в оффисы — как вагонетки,
есть только брутто, нетто —
быть человеком некогда!

Вот мой приятель-лирик:
к нему забежала горничная . . .
Утром вздохнула горестно —
мол, так и не поговорили!

Ангел, об чем претензии?
Провинциалочка некая!
Сказки хотелось, песни?
Некогда, некогда, некогда!

Что там в груди колотится
пойманной партизанкою?
Сердце, нам безработица.
В мире — роботизация.

Ужас! Мама,
роди меня обратно! . .

Обратно — к истокам неслись реки.

Обратно — от финиша к старту задним ходом
неслись мотоциклисты.

Баобабы на глазах, худея, превращались в прутья саженцев — обратно!

Пуля, вылетев из сердца Маяковского, пролетев прожженную дырочку на рубашке, юркнула в ствол маузера 4-03986, а тот, свернувшись улиткой, нырнул в ящик стола . . .

. . . Твой отец историк. Он говорит, что человечество имеет обратный возраст. Оно идет от старости к молодости.

Хотя бы средневековье. Старость. Морщинистые стены инквизиции.

Потом Ренессанс — бабье лето человечества. Это как женщина, красивая, все познавшая, пирует среди зрелых плодов и тел.

». . . Электрон после рассеивания может двигаться назад во времени. Тогда обыкновенный позитрон можно рассматривать как электрон, для которого время течет вспять (обратное время).

»Теория фундаментальных процессов«.

Р. П. Фейнман. Нью-Йорк, 1961.

Не будем перечислять надежд, измен, приключений XVIII века, задумчивой беременности XIX.

А начало XX века — бешеный ритм революции! Восемнадцатилетие командармов. »Мы — первая любовь земли«. »Сейчас подымается социализм, живым, человечьим, правдашним«. Но было и так...

Голова ли от ветра кружится?
Или память клубком раскручивается?
Будто крутится радиолой
марш охрипший и одиозный.

Ты не пой, пластинка, про Сталина.
Это песенка не простая,
непроста усов седина,
то — прозрачна, а то — мутна . . .

Те усы свисали над трубкой
выдающегося конструктора,
разбирались в шайбочках, в винтиках,
человека только не видели!

Кто в них верил? И кто в них сгинул,
как иголка в седой копне?
Их разглаживали при Гимне.
Их мочили в красном вине.

И торжественно над страную,
точно птица хищной красы,
плыли
с красною
бахромою
государственные усы!

Ты не пой, пластинка, про Сталина.
Быть нам винтиком не пристало.
Было. Больше не угорим
вислым дымом его седин.

»Я думаю о будущем, — продолжает историк, — когда все мечты осуществляются. Техника в добрых руках добра. Бояться техники? Что же, назад в пещеру! . . .«

Он седой и румяный. Ему улыбаются дети и собаки.

*От автора
и кое-что другое*

Не к первому попала мне тетрадь:
ее командировщики листали,
острили на полях ее устало
и засыпали, сияясь разобрать.

Вот чей-то почерк: »Автор-абстрактист!«
А снизу красным: »Сам туда катись!«
»Но машина мыслит . . .«
»Но она мыслит мыслью чьей? Человека!«

»Может, автор сам из тех, кто
тешит публику подтекстом?«
»Брось искать подтекст: задрыга!
Ты смотришь в книгу —
видишь фигу!«

Оставим эти мудрости, дневник.
Хватает комментариев без них.

V

А не махнуть ли мне на море?

VI

В час отлива возле чайной
я сидел в ночи печальной,
говорил друзьям об Озе и величье бытия,

но внезапно черный ворон
примешался к разговорам,
вспыхнув синими очами,
он сказал:

»А на х...я?!«

Я вскричал: »Мне жаль вас, птица,
человеком вам родиться б,
счастье высшее трудиться,
полпланеты раскря...«

Он сказал: »А на х...я?!«

»Будешь ты, великий ментор,
бог машин, экспериментов,
будешь бронзой монументов
знаменит во все края...«

Он сказал: »А на х...я?!«

»Уничтожив олигархов,
ты настроишь агрегатов,
демократией заменишь
короля и холоя...«

Он сказал: »А на х...я?!«

Я сказал: »А хочешь — будешь
спать в заброшенной избушке,
утром пальчики девичьи
будут класть на губы вишни,
глушь такая, что не слышна
ни хвала и ни хула...«

Он ответил: »Все — мура,
раб стандарта, царь природы,
ты свободен без свободы,
ты летишь в автомашине,
но машина — без руля...

Оза, Роза ли, стервоза —
как скучны метаморфозы,
в ящик рано или поздно...

Жизнь была — а на х...я?!«

Как сказать ему, подонку,
что живем не чтоб подохнуть, —
чтоб губами тронуть чудо
поцелуя и ручья!

Чудо жить. Необъяснимо:
Кто не жил — что спорить с ними?!

Можно бы — да на х...я?*

VII

А тебе семнадцать. Ты запыхалась после гимнастики. И неважно, как тебя зовут. Ты и не слышала о циклотроне.

Кто-то сдуру воткнул на приморской набережной два ртутных фонаря. Мы идем навстречу. Ты от одного, я от другого. Два света бьют нам в спину.

И прежде чем встречаются наши руки, сливаются наши тени — живые, теплые, окруженные мертвой белизной.

Мне кажется, что ты все время идешь навстречу!

Затылок людей всегда смотрит в прошлое. За нами, как очередь на троллейбус, стоит время. У меня за плечами прошлое, как рюкзак, за тобой — будущее. Оно за тобой шумит, как парашют.

Когда мы вместе — я чувствую, как из тебя в меня переходит будущее, а в тебя — прошлое, будто мы песочные часы.

Как ты страдаешь от пережитков будущего! Ты резка. искрення. Ты поразительно невежественна.

Прошлое для тебя еще может измениться и на-

*) В советской прессе ворон кричал »На фига«. По мнению Патришии Блейк, из Америки, и Макса Гейворда, из Оксфордского университета, в оригинале было "na huya ("oh, fuck!") with which the preceding line always rhymes" (Antiworlds, Edited by P.V. & M. H., p. 119).

ступать. »Наполеон, — говорю я, — одержал победу под Аустерлицем«. Ты отвечаешь: »Посмотрим!«

Зато будущее для тебя достоверно и безусловно.

»Завтра мы пошли в лес«, — говоришь ты. У, какой лес зашумел на завтра! До сих пор у тебя из левой туфельки не вытряхнулась сухая хвойная иголочка.

Твои туфли остроносые — такие уже не носят. »Еще не носят!« — смеешься ты.

Я пытаюсь заслонить собой прошлое, чтобы ты никогда не разглядела майданеков и инквизиции.

Твои зубы розовы от помады.

Иногда ты пытаешься подладиться ко мне. Я замечаю, что-то мучит тебя. »Ну, что ты?«

Освобождаясь, ты, довольная, выпаливаешь, как на иностранном языке: »Я получила большое эстетическое удовольствие!«

»А раньше я тебя боялась... А о чем ты думаешь?..«

Ах, о чем, о чем, о чем...

Где она сейчас?

Может, ее называют Оза?

VIII

Выйду ли к парку, в море ль плыву —
туфелек пара стоит на полу.

Левая к правой набок припала,
их не поправят — времени мало.

В мире не топлено, в мире ни зги,
вы еще теплые, только с ноги,

в вас от ступни потеплела изнанка,
вытерлось золото фирменных знаков...

Какая грусть — не видеться с тобой,
какая грусть — увидеться в толкучке,
где каждый хлюст, вонзив клешни, толкуя,
касается тебя — какая боль!

Ты мне простишь и боль твою и стон.
Ну, а в душе кровавые мозоли?
Где всякий сплетник, жизнь твою мусоля,
жует бифштекс над этим вот листом.

Простимся, Оза, сквозь решетку строк...
Но кровь к вискам бросается, задохшись,
когда живой, как бабочка в ладошке,
из телефона бьется голосок...



... А дальше запись лекций начиналась,
мир цифр и чей-то профиль машинальный.
Здесь реализмом трудно потрястись —
не Репин был наш бедный портретист.

А после были вырваны листы.
Наверно, мой напившийся предшественник
рванул, где про любовь, что посущественней...
А следующей фразой было:

ТЫ.

Х

Ты сегодня, 16-го, справляешь день рождения в
ресторане »Берлин«. Зеркало там на потолке.

Из зеркала вниз головой, как сосульки, свисали
гости. В центре потолка нежный, как вымя, висел
розовый торт с воткнутыми свечами.

Вокруг него, как лампочки, ввернутые в элегант-
ные черные розетки костюмов, сияли лысины и

прически. Лиц не было видно. У одного лысина была маленькая, как дырка на пятке носка. Ее можно было закрасить чернилами.

У другого она была прозрачна, как спелое яблоко, и сквозь нее, как зернышки, просвечивали три мысли (две черных и одна светлая — незрелая).

Проборы щеголей горели, как щели в копилках.

Затылок брюнетки с приклепленным прозрачным нейлоновым бантом полз, словно муха по потолку.

Лиц не было видно. Зато перед каждым, как таблички перед экспонатами, лежали бумажки, где кто сидит.

И только одна тарелка была белая, как пустая розетка.

»Скажите, а почему слева от хозяйки пустое место?«

»Генерала, может, ждут?«, »А может, помер кто?«

Никто не знал, что там сижу я. Я, Борисов, аспирант, невидим. Изящные денди, подходящие тебя поздравить, спотыкаются об меня, царапают вилками.

Ты сидишь рядом, но ты восторженно чужая, как подарок в целлофане.

Модного поэта просят: »Ах, рваните чего-то этого! Поближе к жизни, не от мира сего... чтобы современно...«

Поэт подымается (вернее, опускается, как спускают трап с вертолета). Голос его странен, как бы антимирен ему, будто кто-то за него говорит, а он только шлепает искусанными губами юридивого:

Молитва

Мать Владимирская, единственная,
первой молитвой — молитвой последнею —
я умоляю —

стань нашей посредницей.

Неумолимы зрачки Ее льдистые.

Я не кощунствую — просто нет силы,
Жизнь забери и успехи минутные,
наихрустальнейший голос в России —
мне ни к чему это!

Все суета перед слабой блондинкой.
Все безысходно . . .

Осталось одно лишь —
грохнись ей в ноги,

Матьер Владимирская,
может, умолишь, может, умолишь . . .

Читая, он запрокидывает лицо. И на его белом
лице, как на тарелке, горел нос, точно болгарский
перец.

Кричат: »Браво! Этот лучше всех. Ну и тостик!«
Слово берет следующий поэт. Он пьян вдребезину.
Он свисает с потолка вниз головой и просыхает, как
полотенце. Только несколько слов можно разобрать
из его бормотанья:

— Заонежье. Тает теплоход.

Дай мне погрузиться в твое озеро.

До сих пор вся жизнь моя —

Предозье.

Не дай Бог — в Заозье занесет . . .

Все замолкают.

Слово берет тамада Ъ.

Он раскачивается вниз головой, как длинный
маятник. »Тост за новорожденную«. Голос его, как
из репродуктора, разносится с потолка ресторана.
»За ее новое рождение, и я, как крестный . . . Да, а
как зовут новорожденную?« (Никто не знает.)

Как это все напоминает что-то! И под этим под-
вешенным миром внизу расположился второй, на-
оборотный, со своим поэтом, со своим тамадой Ъ.
Они едва не касаются затылками друг друга, сим-

метричные, как песочные часы. Но что это? Где я? В каком идиотском измерении? Что это за поточно-зеркальная реальность? Что за наоборотная страна?!

Ты-то как попала сюда? Милая, как тебе мучительно здесь! И почему рядом с этими рожами я вижу твоих друзей? Они-то почему тут? Добрые, милые, самоотверженные... Как страшно за тебя, за них.

Они и не подозревают, что висят на волоске. Что еще мгновение, и они сорвутся вниз, вдребезги, как капли с карниза!

А может, они проникли сюда, как и я, чтобы не оставить тебя, спасти?

Надо что-то делать, разморозить тебя, разбить это зеркало, вернуть тебя в твой мир, твою страну, страну естественности, чувства — где ольха, теплоходы, где доброе зеркало Онежского озера...

Задумавшись, я машинально глотаю бутерброд с кетовой икрой.

Но почему висящий напротив, как окорок, периферийный классик с ужасом смотрит на мой желудок? Боже, ведь я-то невидим, а бутерброд реален! (Как я мог забыть! Ведь об этом предостерегал Уэллс!) Он передвигается по мне, как красный джемпер в лифте.

Классик что-то шепчет соседу.

Слух моментально пронизывает головы, как бусы на нитке.

Красные змеи языков ввинчиваются в уши соседей. Все глядят на бутерброд.

»А нас килькой кормят!« — вопит классик.

Надо спрятаться! Ведь если они обнаружат меня, кто же выручит, освободит тебя, кто же разобьет зеркало?!

Я выпрыгиваю из-за стола и ложусь на красную дорожку пола. Рядом со мной, за стулом, стоит пара

туфельек. Они, видимо, жмут кому-то. Левая припала к правой. (Как все напоминает что-то!) Тебя просят спеть . . .

Начинаются танцы. Подошвы! Подошвы! Первая пара с хрустом проносится по мне. Почему все ботинки с подковами? Рядом кто-то с хрустом давит по туфелькам. Чьи-то каблочки, подобно швейной машинке, прошивают мне кожу на лице. Только бы не в глаза! . .

Я вспоминаю все.
Роботы! Роботы! Роботы!

Как ты, милая, снишься!
»Так как же зовут новорожденную?« —
надрывается тамада.

»Зоя! — ору я. — Зоя!«

А может, ее называют Оза?

XI

Знаешь, Зоя, теперь — без трепя.
Разбегаются наши тропы.
Стоит им пойти стороною,
остального не остановишь.

Помнишь, Зоя, — в снега застеленную,
помнишь, Дубну, и ты играешь.
Оборачиваешься от клавиш.
И лицо твое опустело.
Что-то в нем приостановилось
и с тех пор невосстановимо.

Всяко было — и дождь и радуги,
горизонт мне являл немилость.
Изменяли друзья злорадно.
Сам себе надоед, зараза.
Только ты не переменялась.

А концерт мой прощальный помнишь?
Ты сквозь рев их мне шла на помощь.
Если жив я назло всем слухам,
в том вина твоя иль заслуга.

Когда беды меня окуривали,
я, как в воду, нырял под Ригу,
сквозь соломинку белокурую
ты дыхание мне дарила.

Километры не разделяют,
а сближают, как провода,
непростительнее, когда
миллиметры нас раздирают!

Если боли людей сближают,
то на черта мне жизнь без боли?
Или, может, беда блуждает
не за мной, а вдруг за тобою?

Нас спасающие — неспасаемы.
Что б ни выпало претерпеть,
для меня важнейшее самое —
как тебя убережь теперь!

Ты ль меняешься? Я ль меняюсь?
И из лет
очертанья, что были нами,
опечаленно машут вслед.
Горько это, но тем не менее
нам пора . . . Вернемся к поэме.

XII

Экспериментщик, чертова перечница,
изобрел агрегат ядерный.
Не выдерживаю соперничества

Будьте прокляты, циклотроны!
»Техника в добрых руках — добра,
а если в злых . . .«

Будь же проклята ты, громада
программированного зверья.
Будь я проклят за то, что я
слыл поэтом твоих распадов!

Мир — не хлам для аукциона.
Я — Андрей, а не имя рек.
Все прогрессы — реакционны,
если рушится человек.

Не купить нас холодной игрушкой,
механическим соловейчиком!
В жизни главное человечность —
хорошо ль вам? красиво ль? грустно?

Край мой, родина красоты,
край Рублева, Блока, Ленина,
где снега до ошеломления
завораживающе чисты . . .
Выше нет предопределения —
мир
к спасению
привести!

.

»Извиняюсь, вы — певец паровозов?«

»Фи, это так архаично . . .

Я — трубадур турбогенераторов!«
Что за бред!

Ах, этот спор, ведущийся от века!

Вопрос не в том — принять иль не принять,

А важно, что примат иль кто примат?

»Даешь прогресс во имя человека!«

Проклинаю псевдопрогресс.

Горло саднит от техсловес.

Я им голос придал и душу,

будь я проклят за то, что в градущем,

порубав таблеток с эссенцией,

спросит женщина тех времен:

»В третьем томике Вознесенского

что за зверь такой Циклотрон?«

Отвечаю: »Их кости ржавы,

отпугали, как тарантас.

Смертны техники и державы,

проходящие мимо нас.

Лишь одно на земле постоянно,

словно свет звезды, что ушла, —

продолжающееся сиянье,

называли его душа.

Мы растаем и снова станем,

и неважно в каком бору,

важно жить, как леса хрустальны

после заморозков поутру.

И от ягод звенит кустарник.

В этом звоне я не умру«.

И подумает женщина: »Странно!

Помню Дубну, снега с кострами.

Были пальцы от лыж красны.

Были клавиши холодны.

Что же с Зоей?

Та, физик давняя?

До свидания, до свидания.

Отчужденно, как сквозь стекло,
ты глядишь свежо и светло.
В мире солнечно и морозно . . .

Прощай, Зоя.

Здравствуй, Оза!

ХШ

Прощай, дневник, двойник души чужой,
забытый кем-то в дубненской гостинице.
Но почему, виски руками стиснув,
я думаю под утро над тобой?

Твоя наивность странна и смешна.
Но что-то ты в душе моей смешал.

Прости царапы моего пера.
Чудовищна ответственность касаться
чужой судьбы, тревог, галлюцинаций!
Но будь что будет! Гранки ждут. Пора.

И, может быть, нескладный и щемящий,
придет хозяин на твой зов щенячий.
Я ничего в тебе не изменил,
лишь только имя Зоей заменил.

XIV

На крыльце,
Очищая лыжи от снега,
я поднял голову.

Шел самолет.
И за ним

на неизменном расстоянии
летал отставший звук,
прямоугольный, как прицеп на буксире.

Дубна — Одесса
Март 1964 г.





Возвращение в Сигулду

Отшельничаю, берлогу,
отлеживаюсь в березах,
лужаечный, можжевельничий,
отшельничаю,

отшельничаем, нас трое,
наш третий всегда на стреме,
позвякивает ошейничком,
отшельничаем,

мы новые, мы знакомимся,
а те, что мы были прежде,
как наши пустые одежды,
валяются на подоконнике,

как странны нам те придурки,
далекие, как при Рюрике
(дрались, мельтешили, дулись),
какая все это дурость!

А домик наш в три окошечка
сквозь холм в лесовых массивах
просвечивает, как косточка
просвечивает сквозь сливу,

мы тоже в леса обмакнуты,
мы зерна в зеленой мякоти,
притягиваем, как соки,
все мысли земли и шиорохи,

как мелко мы жили, ложно,
турбазники сквозь кустарник
пройдут, постоят, как лоси,
растают,

умаялась бегать по лесу,
вздремнула, ко мне припавши,
и тенью мне в кожу пористую
впивалась, как в промокашку,

я весь тобою пропитан,
лесами твоими, тропинками,
читаю твое лицо,
как легкое озерцо,

как ты изменилась, милая,
как ссадина, след от свитера,
но снова как разминированная —
спасенная? спасительная!

ты младше меня? Старше!
на липы, глаза застлавшие,
наука твоя вековая
ауканья, кукованья,

как утра хрустальны летние
как чисто у речки бисерной
дочурка твоя трехлетняя
писает по биссектриске!

»мой милый, теперь не денешься,
ни к другу и ни к врагу,
тебя за щекой, как денежку,
серебряно сберегу«,

я думал, мне не вернуться,
гроза прошла, не волнуйся,
леса твои островные
печаль мою растворили,

в нас просеки растворяются,
как ночь растворяет день,
как окна в сад растворяются
и всасывают сирень,

и это круговращение
щемяще, как возвращенье . . .

Куда б мы теперь ни выбыли,
с просвечивающих холмов
нам вслед

улетает

Сигулда,

как связка

зеленых

шаров!

»Ольга, опомнитесь! Что с вами, Ольга? . . .«

Это блуждает в крови, как иголка . . .
передо мною судьба твоя, Ольга?

Полуфранцуженка, полурусская,
с джазом простуженным туфелькой хрусткая,
как несуразно в парижских альковах —

»Ольга« —
как мокрая ветка ольховая!

Что натворили когда-то родители!
В разных глазах породнили пронзительно
смутный витраж нотр-дамской розетки
с нашим Блаженным в разводах разэтаких.

Бродят, как город разора и оргий,
Ольга французская с русскою Ольгой.

Что тебе снится, русская Оля?

Около озера рощица, что ли . . .
Помню, ведро по ноге холодило —
хоть никогда в тех краях не бродила.

Может, в крови моей гены горят?
Некатолический вижу обряд,
а за католичкой росно и колко . . .

Как вам живется, французская Ольга?

»Как? О-ля-ля! Мой Рено — как игрушка,
плачу по-русски, смеюсь по-французски . . .
Я парижанка. Ночами люблю
слушать, щекою прижавшись к рулю.

Но почему посреди буги-вуги
слышатся вьюги?

Дуги соборов манят, как магниты,
о помогите,
милый мой муж простынею накрыт,
как за граничной стеною храпит».

Руки лежат как в других государствах.
Правая бренди берет как лекарство.
Левая вправлена в псковский браслет,
а между ними —
тысячи лет.

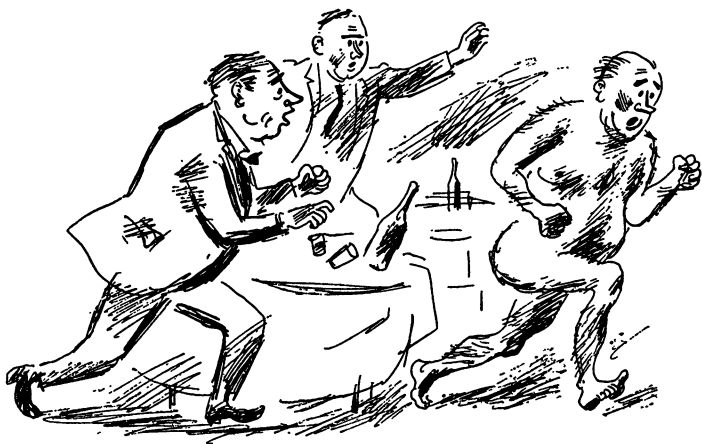
Горе застыло в зрачках удлинённых,
о олененок,
вмерзший ногами на двух нелюдимых
и разъезжающихся
льдинах!

IV

Мир расколола тревожная трещина.
Как разрушительно врезались в женщину
войны холодные,
войны глобальные,
фраки министров, схожих с гробами,
мир разрывается, мир задыхается
в мирных Майданеках,
в новых Дахау!
»Остановитесь!« — взывают осколки
зеленоглазого города
Ольги.

V—I

Я эту »Ольгу« читал на эстраде.
Утром звонок: »Экскюзе, бога ради!
Я полурусская . . . с именем Ольга . . .
Школьница . . . рыженькая вот только . . .«
Ольга, опомнитесь! Что с вами, Ольга?!



Римские праздники

Рим гремит, как аварийный
отцепившийся вагон.

А над Римом, а над Римом
Новый год, Новый год!

Бомбой ахают бутылки
из окон,

из окон,
ну, а этот забулдыга
ванну выпер на балкон.

А над площадью Испании,
как летающий тарел,
вылетает муж из спальни —
устарел, устарел!

В ресторане ловят голого.

Он гласит: »Долой
невежд!

Не желаю прошлогоднего.
Я хочу иных одежд«.

кто-то скажет, что озябла
без меня,
 без меня . . .

И летит мирами где-то
в мрак бесстрастный, как крупье,
наша белая планета,
как цыпленок в скорлупе.

Вот она скорлупку чокнет.
Кем-то станет — свистуном?
Или черной, как грачонок,
сбитый атомным огнем?

Мне бы только этим милым
не случилось непогод . . .
А над Римом, а над миром —
Новый год, Новый год . . .

. . . Мандарины, шуры-муры,
и сквозь юбки до утра
лампами
 сквозь абажуры
светят женские тела.



Мотогонки по вертикальной стене
Мастеру спорта, Н. Андросовой

Завораживая, манежа,
Свищет женщина по манежу!
Краги —

красные, как клешни.
Губы крашенные — грешны.
Мчит торпедой горизонтальною,
Хризантему заткнув за талию!

Ангел атомный, амазонка!
Щеки вдавлены, как воронка.
Мотоцикл над головой
Электрической пилой.

Надоело жить вертикально.
Ах, дикарочка, дочь Икара . . .
Обыватели и весталки
Вертикальны, как »ваньки-встаньки«.

В этой, взвившейся над зонтами,
Меж оаций, афиш, обид,
Сущность женщины
горизонтальная
Мне мерещится и летит!

Ах, как кружит ее орбита!
Ах, как слезы к белкам прибиты!
И тиранит ее Чингисхан —
Замдиректора Сингичанц . . .

СИНГИЧАНЦ: »Ну, а с ней не мука?
Тоже трюк — по стене, как муха . . .
А вчера камеру проколола . . . Интриги . . .
Пойду напишу

в секцию . . .
И царапается, как конокрадка«.

Я к ней вламываюсь в антракте.
»Научи, — говорю, —
горизонту . . .«

А она молчит, амазонка.
А она головой качает.
А ее еще трек качает.
А глаза полны такой —
горизонтальной
тоской!

Лирическая религия

Несутся энтузиасты
на горе мальтузианству,
человечество
увеличивается
в прогрессии
лирической!

(А Сигулда вся в сирени,
как в зеркала уроненная,
зеленая на серебряном,
серебряная на зеленом.)

В орешнях, на лодках, на склонах,
смущающаяся, грешная,
выводит свои законы
лирическая прогрессия!

Пусть с кафедр всплеснут десницами
Эвклиды и Энгельгардты.
 $2 = 1 > 3\ 000\ 000\ 000!$

Рушатся Римы, Греции.
Для пигалиц обнаглевших
профессора, как лешие,
вызубривают прогрессию.

Ты спросишь: »А правы ль данные,
что сердце в момент свидания
сдвигает 4 вагона?«
Законно! Законно! Законно!

Танцуй, моя академик!
Хохочет до понедельника
на физике погоревшая
лирическая прогрессия!

(Ты младше меня? Старше!
На липы, глаза застлавшие . . .
Наука твоя вековая
ауканья, кукованья.)

Грозит мировым реваншем
в сиренях повызревавшая —
кого по щеке огревшая? —
лирическая агрессия!

Пожар в архитектурном институте

Пожар в Архитектурном!
По залам, чертежам,
Амнистией по тюрьмам,
Пожар! пожар!

По сонному фасаду
Бесстыже, озорно,
Горилой краснозодою
Взвивается окно!

А мы уже дипломники.
Нам защищать пора.
Трещат в шкафу под пломбами
Мои выговора.

Бутылью керосиновой
Взвилось пять лет и зим.
Кариночка Красильникова
Ой, горим!

Прощай архитектура!
Пылайте широко
Коровники в амурах
Райклубы в рококо!

О, юность, феникс, дурочка,
Весь в пламени диплом,
Ты машешь красной юбочкой
И дразнишь язычком.

Прощай пора окраин,
Жизнь — смена пепелищ,
Мы все перегораем.
Живешь — горишь.

А завтра в палец чиркнувши,
Вонзится злей пчелы,
Иголочка от циркуля
И в горсточки золы.

Все выгорело начисто,
вдыхающих полно . . .
Все кончено?

Все — начато!

Айда в кино!

Латышский набросок

Уходят парни от невест.

Невесть зачем, из отчих мест
Три дурака бегут на Запад.
Их кто-то выдает. Их цапают.
41-й год. Привет!
»Суд идет!« Десять лет.

»Возлюбленный, когда ж вернешься?!
четыре тыщи дней, как ноша,
четыре тысячи ночей
не побывала я ничьей,
соседским детям десять лет,
прошла война, тебя все нет,
четыре тыщи солнц скатилось,
как ты там мучаешься, милый,
живой ли ты и невредимый?
предела нету для любимой —
ополоумевши любя,
я, Рута, выдала тебя —
из тюрем приходят иногда,
из заграницы — никогда...«

... Он бьет ее, с утра напившись.
Свистит его костыль над пирсом.

О вопли женщины седой:
»Любимый мой! Любимый мой!«

Бьют женщину

Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
как белые прожектора!

Бьют женщину. Так бьют рабынь.
Она в заплаканной красе
срывает ручку как рубильник,
выбрасываясь
на шоссе!

И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали тормоша.
И волочили и лупили
лицом по лугу и крапиве . . .

Подонки, как он бил подробно,
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!
Вонзался в дышащие ребра
ботинок узкий, как утюг.

О упоенье оккупанта,
изыски деревенщины . . .
Сминая лунную купаву,
бьют женщину.

Бьют женщину. Веками бьют,
бьют юность, бьет торжественно
набата свадебного гуд,
бьют женщину.

А от жаровен на щеках
горящие затрецины?
Мещанство, быт — да еще как! —
бьют женщину.

Но чист ее высокий свет,
отважный и божественный.
Религий — нет,
знамений — нет.

Есть
Ж е н щ и н а ! . .

. . . Она как озеро лежала
стояли очи как вода
и не ему принадлежала
как просека или звезда

и звезды по небу стучали
как дождь о черное стекло
и скатываясь
остужали
ее горячее чело

* *
*

Отзовись!

Что с тобою? Примчись, припади, расскажи!
Атавизм? . .
Или может быть — рак души?

К лучшей женщине мира,
к самой юной беда добралась.
А была она милая,
С фаюмским сиянием глаз.

Мотоциклы вела,
в них вонзалась и гнулась она,
Как стрела
В разъяренном, ревушем боку кабана!

Начинается с дач,
с лимузинов, с небритых мужей,
Начинается сдача
Самых чистых ее рубежей.

Раздавило машиной,
под глазами, как нимбы, мешки.
Чьи-то лапки мышинные,
Как клеенка, липки.

Осень сад осыпает
на толченый кирпич.
Человек засыпает и ночами — кричит!

Что-то давит ей плечики . . .
И всю ночь — не помочь! —

Дача
пляшет
на пленнице,
Как татарский помост!

Свадьба

Выходит замуж молодость
Не за кого — за что.
Себя ломает молодость
За модное манто.

За золотые горы
И в серебре виски.
Эх, да по фарфору
Ходят сапоги!

Где пьют, там и бьют —
Чашки, кружки об пол бьют.
Горшки — в черепки,
Молодым под каблуки.
Брызжут чашки на куски:
Чье-то счастье —
В черепки!

И ты в прозрачной юбочке,
Юна, бела,
дрожишь, как будто рюмочка
На краешке стола.

Улыбочка, как трещинка,
Играет на губах,
И мокрые отметинки
Темнеют на щеках.

Где пьют, там и льют —
Слезы, слезы, слезы льют . . .

1959

»Ирена, ку-ку!« Кидайте же тугрики
от Сены до Рейна
под бритые икры в серебряной тувельке!
Молитесь Ирене!«

Куря за кулисой, с цветными ресницами
глядел в меня парень пустыми глазницами.
И, как микеланджеловские скрижали,
на потных ногах полотенца лежали.

Горный родничок

Стучат каблучонки
как будто копытца
девчонка

к колонке
сбегают напиться

и талия блещет
увертливей змейки
и юбочка плещет
как брызги из лейки

хохочет девочка
и голову мочит
журчащая челка
с водою лопочет

две чудных речонки
к кому кто приник?
и кто тут
девчонка?
и кто тут родник?



Стриптиз

В ревью
танцовщина раздевается дуря . . .

Реву? . .

Или режут мне глаза прожектора?

Шарф срывает, шаль срывает, мишуру.
Как сдирают с апельсина кожуру.

Первый лед

Мерзнет девочка в автомате,
Прячет в зябкое пальцецо
Все в слезах и губной помаде
Перемазанное лицо.

Дышит в худенькие ладошки.
Пальцы — льдышки. В ушах — сережки.

Ей обратно одной, одной
Вдоль по улочке ледяной.

Первый лед. Это в первый раз.
Первый лед телефонных фраз.

Мерзлый след на щеках блестит —
Первый лед от людских обид.

Поскользнешься, ведь в первый раз.
Бьет по радио поздний час.
Эх раз, еще раз,
Еще много, много раз!*

1959

*) Последние 4 строки не вошли ни в один советский сборник.

Бьет женщина

В чьем ресторане, в чьей стране — не вспомнишь,
но в полночь
есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год,
и женщина разгневанная — бьет!

Быть может, ей не подошла компания,
где взгляды липнут, словно листья в бане?
За что — неважно. Значит, им положено —
пошла по рожам, как белье полощут.

Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!
Вмажь майонезом лысому в подтяжках.
Бей, женщина! Массируй им мордасы!
За все твои грядущие матрасы,

за то, что ты во всем передовая,
что на земле давно матриархат —
отбить, обуть, быть умной, хохотать —
такая мука — непередаваемо!

Влепи в него салат из солонины.
Мужчины, рыцари, куда ж девались вы?!
Так хочется к кому-то прислониться —
увы . . .

Бей, реваншистка! Жизнь — как белый танец.
Не он, а ты его, отбивши, тянешь.
Пол-литра купишь. Как он скучен, хрыч!
Намучишься, пока расшевелишь.

Ну можно ли в жилет пулять мороженым?!
А можно ли в капронах ждать в морозы?
Самой восьмого покупать мимозы —
можно?!

Виновные, валитесь на колени,
колонны, люди, ленные аллеи,
вы без нее давно бы околели!
Смотрите из-под грязного стола —
она, шатаясь, к зеркалу пошла.

»Ах, зеркало, прохладное стекло,
шепчу в тебя бессвязными словами,
сама к себе губами прислоняюсь,
и по тебе сползаю тяжело,
и думаю: »Трусишки, нету сил —
меня бы кто хотя бы отлупил! . . .«

Уже давно ее уволокли.
Но в трубах джаза, посредине зала,
но в виде запотевшего овала,
как богоматерь, зеркало стояло
в следах от губ, и слезы в нем текли . . .

* *
*

Как всегда, перед дорогой
говорится не о том.
Мы бравлируем с тревогой,
нам все это нипочем.

. . . В темноте лицо и брюки,
только тенниска бела,
ты невидимые руки
к самолету подняла.

Так светяще, так внимательно
вверх протянута, вопя,
как Собор

Парижской
Богоматери —
безрукавочка твоя!

Как ей хочется повышаться
на кружке инвентаризации!

Ну, а ноги несут сами —
к басанове несут,
к самбе!

Он — приезжий. Чудной как цуцик.
»Потанцуем?«

Ноги, ноги, такие умные!
Ну, а ночи, такие лунные!
Длиноного, побойся бога,
сумасшедшая Длиноного!

А потом она вздрогнет: »Хватит«.
Как коня, колени обхватит
и качается, обхватив,
под насвистывающий мотив . . .

Что с тобой, моя Длиноного? . .
Ты — далеко.



Новогоднее письмо в Варшаву

А. Л.

Когда под утро, точно магний,
бледнеют лица в зеркалах
и туалетною бумагой
прозрачна пудра на щеках,
как эти рожи постарели!

Как хищно на салфетке в ряд,
как будто раки на тарелке,
их руки красные лежат!

Ты бродишь среди этих блюдиц.
Ты лоб свой о фужеры студишь.
Ты шаль срываешь. Ты горишь.
»В Варшаве душно«, — говоришь.

А у меня окно распахнуто
в высотный город словно в сад
и снег антоновкою пахнет
и хлопья в воздухе висят

они не движутся не падают
ждут

не шелохнутся

легки

внимательные

как лампы

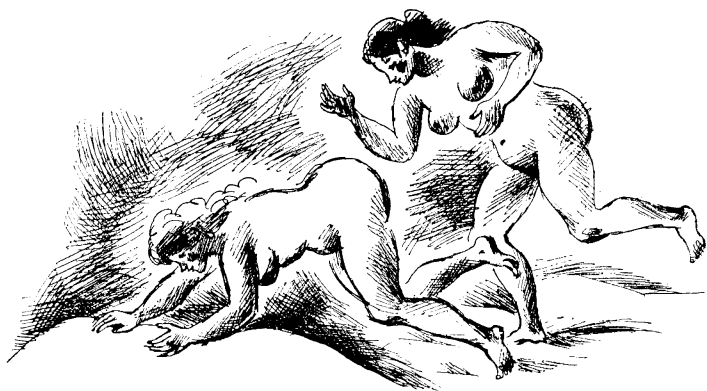
или как летом табаки

они немножечко качнутся
когда их ноженькой

коснутся

одетой в польский сапожок . . .

Пахнет яблоком снежок.



Сибирские бани

Бани! Бани! Двери — хлоп!
Бабы прыгают в сугроб.

Прямо с пыли, прямо с жару —
Ну и ну!
Слабовато Ренуару
До таких сибирских »ню«!

Что мадонны! Эти плечи,
Эти спины наповал,
Будто доменной печью
Запрокинутый металл.

Задыхаясь от разбега,
Здесь на »ты«, на »ты«, на »ты«
Чистота огня и снега
С чистотою наготы.

День морозный, чистый, парный.
Мы стоим, четыре парня, —
В полушубках, кровь с огнем,
Как их шуткой
шуганем!

Ой, испугу!
Ой, в избушку,
Как из пушки, во весь дух:
— Ух! ..

А одна в дверях задержится,
За приступочку подержится
И в соседа со смешком
Кинет
 кругленьким снежком!

Ты с теткой живешь. Она учит канцоны

Ты с теткой живешь. Она учит канцоны.
Чихает и носит мужские кальсоны.
Как мы ненавидим проклятую ведьму! ..

Мы дружим с овином, как с добрым медведем.
Он греет нас, будто ладошки запазухой.
И пасекой пахнет.

 А в Суздале — Пасха!
А в Суздале сутолока, смех, воронье,

Ты в щеки мне шепчешь про детство твое.
То сельское детство, где солнце и кони,
И соты сияют, как будто иконы.
Тот отблеск медовый на косах твоих . . .

В России живу — меж снегов и святых!

Тайга

Твои зубы смелы
в них усмешка ножа
и гудят как шмели
золотые глаза!

мы бредем от избушки
нам трава до ушей
ты пророчишь мне взбучку
от родных и друзей

ты отнюдь не монахиня
хоть в округе — скиты
бродят пчелы мохнатые
нагибая цветы

я не знаю — тайги
я не знаю — семьи
знаю только зрачки
знаю — зубы твои

на ромашках роса
как в буддийских пиалах

как она хороша
в длинных мочках фиалок!

в каждой капельке — мочке
отражаясь мигая
ты дрожишь как Дюймовочка
только кверху ногами

ты — живая вода
на губах на листке
ты себя раздала
всю до капли — тайге

Гитара

Меж перца и малаг
под небом модных хижин
костлявый как бурлак
певец был юн и хищен

и огненной настурцией
робея и наглея
гитара как натурщица
лежала на коленях

она была смирней
чем в таинстве дикарь
и темный город в ней
гудел и затихал

а то как в реве цирка
вся не в своем уме —
горящим мотоциклом
носилась по стене!

мы — дети тех гитар
отважных и дрожащих
между подруг дражайших
неверных, как янтарь

среди ночных фигур
ты губы морщишь едко,
к ним как бикфордов шнур
крадется сигаретка



Белла Ахмадулина

Итальянский гараж

Б. Ахмадулиной

Пол — мозаика
как карась.
Спит в палаццо
ночной гараж.

Мотоциклы как сарацины
или спящие саранчихи.

Не Паоло и не Джульетты —
дышат потные »шевролеты«.

Как механики, фрески Джотто
отражаются в их капотах.

Реют призраки войн и краж.
Что вам снится,
ночной гараж?

Алебарды?
или тираны?
или бабы
из ресторана? . .

Лишь один мотоцикл притих —
самый алый из молодых.

Что он бодрствует? Завтра — святки.
Завтра он разобьется всмятку!

Апельсины, аплодисменты . . .
Расшибающиеся —
бессмертны!

Мы родились — не выживать,
а спидометры выжимать! . .

Алый, конченный, жарь! Жарь!
Только гонщицу очень жаль . . .

Я брожу с тобой, Верка, Вега . . .
Я и сам посреди лавин,
Вроде снежного человека,
Абсолютно неуловим.

1959

*) Б. Ахмадулина работала продавщицей.



Б. Ахмадулина

Дали девочке искру.
Не ириску, а искру,
Искру поиска, искру риска,
Искру дерзости олимпийской!
Можно сердце зажечь, можно — печь,

землю

к чертям

поджечь!

В папироске сгорает искорка.
И девчонка смеется искоса.



Туманная улица

Туманный пригород, как турман.

Как поплавки, милиционеры.

Туман.

Который век? Которой эры?

Все — по частям, подобно бреду.

Людей как будто развинтили . . .

Бреду.

Верней — барахтаюсь в ватине.

Носы. Подфарники. Околыши.

Они, как в фодисе, двоятся.

Калоши?

Как бы башкой не обменяться!

Так женщина — от губ едва,

двоясь и что-то воскрешая,

Уж не любимая — вдова,

еще твоя, уже — чужая . . .

О тумбы, о прохожих трусь я . . .

Венера? Продавец мороженого! . .

Друзья?

Ох, эти яго доморощенные!

Я спотыкаюсь, бьюсь, живу,

туман, туман — не разберешься,

О чью щеку в тумане трешь? . .

Ау!

Туман, туман — не дозовешься . . .

Как здорово, когда туман рассеивается!

1959

Параболическая баллада

Судьба, как ракета, летит по параболе
Обычно — во мраке и реже — по радуге.

Жил огненно-рыжий художник Гоген,
Богема, а в прошлом — торговый агент.
Чтоб в Лувр королевский попасть
из Монмартра,

Он
дал
кругаля через Яву с Суматрой!

Унесся, забыв сумасшествие денег,
Кудахтанье жен, и дермо академий,
Он преодолел
тяготенье земное.

Жрецы гоготали за кружкой пивною:
»Прямая — короче, парабола — круче,
Не лучше ль скопировать райские кущи?«

А он уносился ракетой ревущей
Сквозь ветер, срывающий фалды и уши.
И в Лувр он попал не сквозь главный порог —
Параболой
гневно
пробив потолок!

Идут к своим правдам, по-разному храбро,
Червяк — через щель, человек — по параболе.

Жила-была девочка рядом в квартале.
Мы с нею учились, зачеты сдавали.
Куда ж я уехал!
И черт меня нес
Меж грузных грузинских двусмысленных звезд!

Прости мне дурацкую эту параболу.
Простывшие плечики в черном парадном . . .
О, как ты звенела во мраке Вселенной
Упруго и прямо — как прутик антенны!
А я все лечу,

приземляясь по ним —
Земным и озябшим твоим позывным.
Как трудно дается нам эта парабола! . .

Сметая каноны, прогнозы, параграфы,
Несутся искусство,

любовь
и история —
По параболической траектории!

В Сибирь уезжает он нынешней ночью.*

А может быть, все же прямая — короче?

1959

*) Это строка была заменена цензурой на:
В сибирской весне утопают калоши

* * *
*

В. Бокову

Лежат велосипеды
в лесу в росе
в березовых просветах
блестит шоссе

попадали припали
крылом — к крылу
педалями — в педали
рулем — к рулю

да разве их разбудишь —
ну хоть убей! —
оцепенелых чудищ
в витках цепей

большие изумленные
глядят с земли
над ними — мгла зеленая
смола

шмели

в шумящем изобилии
ромашек мят
лежат
о них забыли
и спят

и спят

* *
*

Сидишь беременная, бледная.
Как ты переменилась, бедная.

Сидишь, одергиваешь платъице,
И плачется тебе, и плачется . . .

За что нас только бабы балуют
И губы, падая, дают,

И выбегают за шлагбаумы,
И от вагонов отстают?

Как ты бежала за вагонами,
Глядела в полосы оконные . . .

Стучат почтовые, курьерские,
Хабаровские, люберецкие . . .

И от Москвы до Ашхабада,
Остолбенеv до немоты,

Стоят, как каменные, бабы,
Луне подставив животы.

И, поворачиваясь к свету,
В ночном быту необжитом —

Как понимает их планета
Своим огромным животом.

1958

Тбилисские базары

*... носы на солнце мунятся,
как живопись на фресках.*

Долой Рафаэля!
Да здравствует Рубенс!
Фонтаны форели,
Цветастая грубость!

Здесь праздники в будни
Арбы и арбузы.
Торговки — как бубны,
В браслетах и бусах.

Индиго индеек.
Вино и хурма.
Ты нынче без денег?
Пей задарма!

Да здравствуют бабы,
Торговки салатом,
Под стать баобадам
В четыре обхвата!

Базары — пожары.
Здесь огненно, молодо
Пылают загаром
Не руки, а золото.

В них отблески масел
И вин золотых.

Да здравствует мастер,
Что выпишет их!

Торгуют арбузами

Москва завалена арбузами.
Все дышит волей без границ.
И веет силой необузданной
От возбужденных продавщиц.

Палатки. Гвалт. Платки девчат.
Хохочут. Сдачею стучат.

Ножи и вырезок тузы.
Держи, хозяин, не тужи!

Кому кавун?
Сейчас расколется! —
И так же сочны и вкусны
И милицейские околыши
И мотороллер у стены.

Сентябрьский воздух свеж на вкус
И так же звонок, как арбуз.

И так же весело и свойски,
Как те арбузы у ворот,
Земля мотается
В авоське
Меридианов и широт!

Охота на зайца

Другу Юре*

Травят зайца. Несутся суки.
Травля! Травля! Сквозь лай и гам.
И оранжевые кожухи
Апельсинами по снегам.

Травим зайца. Опохмелившись,
Я, завгар, оппонент милиции,
Лица в валенках, в хrome лица,
Брат Букашкина с пацаном —

Газанем!

Газик, чудо индустриализации,
Наворачивает цепя.
Трали-вали! Мы травим зайца.
Только, может, травим себя?

Полыхают снега нарядные,
Сапоги на мне и тужурка,
Что же пляшет прицел мой, Юрка?

Юрка, в этом что-то неладное,
Если в ужасе по снегам
Скачет крови живой стакан!

Страсть к убийству, как страсть к зачатию,
Ослепленная и зловещая,
Она нынче вопит: зайчатины!
Завтра вззоет о человечине . . .

Он лежал посреди страны,
Он лежал, трепыхаясь слева,
Словно серое сердце леса,
Тишины.

Четыре черные дробинки, не долетев, вонзились в воздух. Он взглянул на нас. И — или это нам показалось — над горизонтальными мышцами бегуна, над запекшимися шерстинками шеи блеснуло лицо.

Глаза были раскосы и широко расставлены, как на фресках Дионисия.

Он взглянул изумленно и разгневанно.

Он парил.

Как бы слился с криком.

Он повис . . .

С искаженным и светлым ликом,

Как у ангелов и певиц.

Длинноногий лесной архангел . . .

Плыл туман золотой к лесам.

»Охмуряет« — стрелявший схаркнул.

И беззвучно плакал пацан.

Возвращались в ночную пору.

Ветер рожу драл, как наждак.

Как багровые светофоры

Наши лица неслись во мрак.

*) Писатель Юра Казаков подвергался часто ожесточенной травле со стороны критики.

Грузинские березы

У речки-игруньи
у горной глазури
березы

в Ингури

березы

в Ингури

как портики храма
колонками в ряд
прозрачно и прямо
березы стоят

как после разлуки
я в рощу вхожу
раскидываю руки
до ночи

лежу

сумерки сгущаются
надо мной
белы
качаются смещаются
прозрачные стволы

вот так светло и прямо
по трассе круговой
стоят

прожекторами

салюты

над Москвой

люблю их невесомость
их высочайший строй
проверяю совесть
белой чистотой

* *

*

Я сослан в себя
я — Михайловское
горят мои сосны смыкаются

в лице моем мутном как зеркало
смеркаются лоси и пергалы

природа в реке и во мне
и где-то еще — извне

три красные солнца горят
три рощи как стекла дрожат

три женщины брезжут в одной
как матрешки — одна в другой

одна меня любит смеется
другая в ней птицей бьется

а третья — та в уголок
забилась как уголек

она меня не простит
она еще отомстит

мне светит ее лицо
как со дна колодца —

кольцо

Загорская лавра

Сопя носами сизыми
И подоткнувши рысы —
Кто смотрит телевизоры,
Кто просто точит лясы.

Я рядом с бледным служкою
Сижу и тоже слушаю
Про денежки, про ладанки
И про родню на Ладогe . . .

Я говорю: — Эх, парень,
Тебе б дрова рубить,
На мотоцикле шпарить,
Девчат любить!

Тебе б не четки
И не кlobук, —
Тебе б чечеткой
Дробить каблук!

Эх, вприсядку,
Чтоб пятки — в небеса!
Уж больно девки падки
На синие глаза.

Он говорит: — Вестимо . . . —
И прячет, словно вор,
Свой нестерпимо синий,
Свой нестеровский взор.

И быстрою походкой
Уходит за решетку.

Мол, дружба — дружбой,
А служба — службой . . .

1958

Кассирша

Немых обсчитали.
Немые вопили
Медяшек медали
Влипали в опилки.

И гневным протестом,
Что все это сказки,
Кассирша, как тесто,
Вздымалась из кассы.

И сразу по залам,
Сыркам, патиссонам,
Пахнуло слезами,
Как будто озоном.

О, слез этих запах
В мычащей ораве.
Два были без шапок.
Их руки орали.

А третий с беконом
Подобием мата
Ревел, как Бетховен,
Земно и лохмато!

В стекло барабаня,
Ладони ломая,
Орала судьба моя
Глухонемая!

Кассирша, ослабясь,
Косилась на солнце
И ленинский абрис
Искала

в полсотне.

Но не было Ленина.

Она была
 фальшью . . .
Была бакалея.
В ней люди и фарши.

Из окна самолета

В мире друзей, в мире транспорта долгого,
Что ты там делаешь в мире, где дождь?
Делишься с кем мандаринными дольками?
Что за экзамены снова сдаешь?

Или запальчивая, запальчивая,
Снова блистательно завалясь,
Ты пробегаешь цимбальной палочкой
Мимо перил, мимо пилястр!

Ой, вокалисточка, снова за шалости?
Или озябшая, бросив постель,
Бродишь босая и взять не решаешься
Трубку тяжелую, точно гантель . . .

Замужем ты. Все забылось и зажило.
Что же ты стынешь, свежо и светло,
Как над несущимися пейзажами
Стынет

 пристальное
 крыло?

Вечеринка

Подгулявшей гурьбою
Все расселись. И вдруг —
Где
 двое?!
Нет
 двух!

Может, ветром их сдуло?
Посреди кутежа
Два пустующих стула,
Два лежащих ножа.

Они только что пили
Из бокалов своих.
Были —
Сплыли.
Их нет, двоих.

Водю талою —
Ищи-свищи! —
Сбежали, бросив к дьяволу
Приличья и плащи!

Сбежали, как сбегает
С фужеров гуд.
Так реки берегами,
Так облака бегут.

Так убегает молодость
Из-под опеки,
И так весной поросли
Пускаются в побег!

В разгаре вечеринка,
Но смелость этих двух
Закинутыми спинками
Захватывает дух!

Ахиллесово сердце

В дни неслыханно боевые
Быть без сердца — мечта,
Чемпионы лупили на вылет —
Ни черта!
Продырявленный точно решета,
Утешаю впадающих в раж:
Глазейте в меня, как в решетку,
Как шикарен пейзаж.
Но не уж-то узнает ружье,
Где привязано нитью болезненной
Бьешься ты в миллиметре от лезвия,
Ахиллесово сердце мое!
Тише!

Очумело, меняя места,
Я ношусь по России как птица,
Отвлекая огонь от гнезда.
Все болишь, все ночами пошаливаешь,
Без защитно спасителен плюс,
Не касайтесь руками шершавыми —
Я от судороги валюсь!
Невозможно расправиться с нами,
Не возможнее выносить!
Еще невозможней,
Вдруг, снайпер,
Перережет дрожащую нить!

Замерли

Замерли!
Заведи мне ладони за плечи,
Обойми!
Только губы дыхнут о мои,
Только море за спинами плещет,
Наши спины как лунные раковины,
Что замкнулись за нами,
Сейчас мы заслушаемся прислонясь.
Мы как формула жизни двоякая,
На ветру мировых клоунад,
Заслоняем своими плечами,
Что сейчас возникает меж нами,
Как ладонями пламя хранят.
Если правда, душа в каждой клетке,
Свои форточки раствори!
В моих порах стрижами заплещутся
Души пойманные твои.
Все становится тайное, явным,
Не ужели под звездопад,
Разомкнувши объятия,
Завянит,
Как раковины не гудят.
А пока нажимай заворуха
На скорлупы упругих спин,
Это нас погружает друг в друга.
Спим.

Качка

Заболеваешь, заболеваешь.
Глаз твой в подушке тоскует безмолвно,
Больно.
Мы запропали с тобой в теплоход
В самый канун годовщины печальной
Что укачала.
Но это пройдет.
Все образуется и полегчает.
Ты в эти ночи родила меня.
Женски, как доннор
Наполнив собою.
Что с тобой,
Младшая, мама моя?!
Больно!
Милая плохо!
Планета пуста,
Официанты бренчат мелочишкой.
Выйдешь на палубу, пар изо рта.
Недокричишься, недокричишься.
К нам, точно кошка в каюту войдет
Затосковавшая проводница, спросит уютно:
Чайку, молодежь,
Или чего-нибудь подкрепиться?
Я — проводница, не так чтобы пьющ,
Но в годовщину подобных качелей,
Выпьем-те, что-ли, за дьявольский плес!
Жить на качельях: любишь не любишь
За качку в мороз,
Что мы сошлись в этом мире кержацком,
В наикачаемом из миров
Важно прижаться.
Пьем!
За сварливую вашу родню,
Воют, хвативши чекушку с прицепом.
Милые родичи!
Благодарю!

Но как тошнит с ваших точных рецептов
Ах, как тошнит от тебя тишина,
Благожелатели виснут на шею.
Ворот теснит и удача тошна
Только тошнее знать что уже не болеть
Ничему. Ни раздражения, ни обиды.
Плакать начать-бы. Да нет, не начну.
Видно душа, как печенка отбита,
Ну а пока что да здравствует бой,
Вам еще взвыть,
От последней обоймы!
Бой продолжается.
Празднуйте боль!
Больно.

Баллада точки

»Баллада? О точке?! О смертной пиллюле?! .«
Балда!
Вы забыли о пушкинской пуле!

Что ветры свистали, как в дыры кларнетов,
В пробитые головы лучших поэтов.

Стрелой пронзив самодурство и свинство,
К потомкам неслась траектория свиста!
И не было точки. А было — начало.

Мы в землю уходим, как в двери вокзала.
И точка тоннеля, как дуло, черна . . .
В бессмертье она?
Иль в безвестность она? . .

Нет смерти. Нет точки. Есть путь пулевой —
Вторая проекция той же прямой.
В природе по смете отсутствует точка.
Мы будем бессмертны.

И это — точно!

Тишины!

Тишины хочу, тишины . . .
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины . . .

чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни,
тишины . . .

звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание —
молчаливо.

Тишины.

Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее — неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.
Для нее музыкально касанье,
как для слуха — поет соловей.

Как живется вам там, болтуны,
чай, опять кулуарный авралец?
горлопаны не наорались?
тишины . . .

Мы в другое погружены.
В ход природ неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
Мы пойдем, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени тихи.
И из псов, как из зажигалок,
Светят тихие языки.

Вечер на стройке

Меня пугают формализмом.

Как вы от жизни далеки,
Пропахнувшие формалином
И фимиамом знатоки!

В вас, может, есть и целина,
Но нет жемчужного зерна.

Искусство мертвенно без искры,
Не столько божьей, как людской, —
Чтоб слушали бульдозеристы
Непроходимую тайгой.

Им приходилось зло и солоно,
Но чтоб стояли, как сейчас,
Они — небритые, как солнце,
И точно сосны — шелушась.

И чтобы девочка-чувашка,
Смахнувши синюю слезу,
Смахнувши — чисто и чумазо,

Смахнувши — точно стрекозу,
В ладошки хлопала раскатисто . . .

Мне ради этого легки
Любых ругателей рогатины
И яростные ярлыки.

* * *

Живет у нас сосед Букашкин,
В кальсонах цвета промокашки.
Но, как воздушные шары,
Над ним горят

Антимиры!

И в них магический, как демон,
Вселенной правит, возлежит
Антибукашкин, академик,
И щупает Лоллобриджид.

Но грезятся Антибукашкину
Виденья цвета промокашки.

Да здравствуют Антимиры!
Фантасты — посреди муры.
Без глупых не было бы умных,
Оазисов — без Каракумов.

Нет женщин —

есть антимужчины.

В лесах режут антимашины.
Есть соль земли. Есть сор земли.
Но сохнет сокол без змеи.

Люблю я критиков моих.
На шее одного из них,
Благоуханна и гола,
Сияет антиголова! . .

. . . Я сплю с окошками открытыми,
А где-то свищет звездопад,
И небоскребы

сталактитами

На брюхе глобуса висят.

И подо мной

вниз головой,

Вонзившись вилкой в шар земной,
Беспечный, милый мотылек,
Живешь ты,

мой антимирок!

Зачем среди ночной поры
Встречаются антимирь?

Зачем они вдвоем сидят
И в телевизоры глядят?

Им не понять и пары фраз.
Их первый раз — последний раз!

Сидят, забывши про бонтон,
Ведь будут мучиться потом!
И ушки красные горят,
Как будто бабочки сидят . . .

. . . Знакомый лектор мне вчера
Сказал: »Антимирь? Мура!«
Я сплю, ворочаюсь спресонок.
Наверно, прав научный хмырь . . .

Мой кот, как радиоприемник,
Зеленым глазом ловит мир.
1961



И щупает Лоллобриджид

Прощание с Политехническим

Большой Аудитории посвящаю

В Политехнический!
в Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.
Милиционеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
в Политехнический!

Ура, студенческая шарага!
А ну, шарахни
по совещанам свои затрецины!
Как нам мещане мешали встретиться!

Ура вам, дура
в серьгах-будильниках!
Ваш рот, как дуло,
разинут бдительно.
Ваш стул трещит от перегрева.
Умойтесь! Туалет — налево.

Ура, галерка! Как шашлыки,
дымятся джемперы, пиджаки.
Тысячерукий как бог языческий
Твое Величество —
Политехнический!

Ура, эстрада! Но гасят бра.
И что-то траурно звучит »ура«.

12 скоро. Пора уматывать.
Как ваши лица струятся матово.
В них проступают, как сквозь экраны,
все ваши радости, досады, раны.

Вы, третья с краю,
с копной на лбу,
я вас не знаю.

Я вас — люблю!

Чему смеетесь? над чем всплакнете?
и что черкнете, косясь, в блокнотик?

что с вами, синий свитерок?
в глазах тревожный ветерок . . .

Придут другие — еще лиричнее,
но это будут не вы —

другие.

Мои ботинки черны как гири.
Мы расстаемся, Политехнический!

Нам жить не долго. Суть не в овациях.
Мы растворяемся в людских количествах
в твоих просторах,

Политехнический.

Невыносимо нам расставаться.

Я ненавидел тебя вначале.
Как ты расстреливал меня молчанием.
Я шел как смертник в притихшем зале.
Политехнический, мы враждовали!

Ах, как я сыпался! Как шла на помощь
записка искоркой электрической . . .
Политехнический, ты это помнишь?
Мы расстаемся, Политехнический.

Я к дырке в занавеси приник —
старик,
пустой, осенний,

струишься к входу,

как из бассейна спускают воду.

Ода сплетникам

Я славлю скважины замочные.
Клеветствующему —
Исполать.
Все репутации подмочены.
Трещи,
Трехспальная кровать!

У, сплетники! У, их рассказы!
Люблю их царственные рты,
Их уши,
 точно унитазы,
Непогрешимы и чисты.

И версии урчат отчаянно
В лабораториях ушей,
Что кот на даче у писателя
Сожрал соседских голубей,
Что гражданина А. в редиске
Накрыли с балериной Б . . .

Я жил тогда в Новосибирске
В блистанье сплетен о тебе.
Как пулеметы, телефоны
Меня косили наповал.
И, точно тенор — анемоны,
Я анонимки получал.

Междугородние звонили.
И голос, пахнущий ванилью,
Шептал, что ты опять дуришь,
Что твой поклонник толст и рыж.
Что таешь, таешь льдышкой тонкой
В пожатые пышущих ручищ . . .

Я возвращался.
На Волхонке
Лежали черные ручьи.

И все оказывалось шуткой,
Насквозь придуманной виной,
И ты запахивала шубку
И пахла снегом и весной.

Любимая, Наташа, чудо,
Чистейшая среди клевет,
Чем траурнее пересуды,
Тем чище

твой высокий

свет!

Та ложь становится гарантией
Твоей любви, твоей тоски . . .

Орите, милые, горланьте! . .
Да здравствуют клеветники!
Смакуйте! Дергайтесь от тика!
Но почему так страшно тихо?

Тебя не судят, не винят,
И телефоны не звонят . . .

*Марше О Пюс. Парижская
толкучка древностей*

I

Продай меня, Марше О Пюс,
упьюсь
этой грустной барахолкой,
смесью блюза с баркаролой,
самоваров, люстр, свечей,
воет зоопарк вещей
по умчавшимся векам —
как слонихи по лесам! . .

перстни, красные от ржави,
чьи вы перси отражали?

как скорлупка, сброшен панцирь.
чей картуш?

вещи — отпечатки пальцев,
вещи — отпечатки душ,

черепки лепных мустангов,
храм хламья, Марше О Пюс,
мусор, музыкою ставший!
моя лучшая из муз!

расшатавшийся диван,
куда девах своих девал?

почем века в часах песочных?
чья замша стерлась от пощечин?

почем любовь, почем поэзия,
утилитарно-бесполезная?
почем метания и робость?
к чему метафоры для роботов?

продай меня, Марше О Пюс,
архаичным становлюсь:
устарел, как Робот-6,
когда Робот-8 есть.

II

Печаль моя, Марше О Пюс,
как плюш,
вьется плесень по кирасам,
гвоздь сквозь плюш повылезал —
как в скульптурной у Пикассо —
железяк,
железяк!

помню, он в штанах расшитых
вещи связывал в века,
глаз вращался, как подшипник,
у виска,
у виска!

(он — испанец, весь как рана,
к нему раз пришли от Франко,
он сказал: »Портрет? Могу!
пусть пришлет свою башку!«)

я читал ему, подрагивая,
эхо ухаает,
как хор,
персонажи из подрамников
вылазят в коридор,

век пещерный, век атомный,
душ разрезы анатомные,
вертикальны и косы,
как песочные часы,

снег заносит апельсины,
пляж, фигурки на горах,
мы — песчинки,
мы печальны, как песчинки,
в этих дьявольских часах,

не пищите! . .
мы в истории

лишь на несколько минут,
мы — песчинки?
но которые
жерла пушечные
рвут!

III

Марше О Пюс, Марше О Пюс,
никого не дозовусь.
пустынны вещи и страшны,
как после атомной войны.

я вещь твоя, XX век,
пусть скоро скажут мне: »Вы ветх«,
архангел

из болтов и гаек
мне нежно гаркнет: »Вы архаик«,

тогда, О Пюс, к себе пусти меня,
приткнусь немодным пиджачком . . .

Я архаичен,
как в пустыне
раскопанный ракетодром!

Осень

С. Щипачеву

Утиных крыльев переплеск.
И на тропинках заповедных
Последних паутинок блеск,
Последних спиц велосипедных.

И ты примеру их последуй,
Стучись проститься в дом последний,
В том доме женщина живет
И мужа к ужину не ждет.

Она откинет мне щеколду,
К тужурке припадет щекою,
Она, смеясь, протянет рот.
И вдруг, погаснув, все поймет —
Поймет осенний зов полей,
Полет семян, распад семей . . .

Озябшая и молодая,
Она подумает о том,
Что яблонька и та — с плодами,
Буренушка и та — с телком.

Что бродит жизнь в дубовых дуплах,
В полях, домах, в лесах продутых,
Им — колоситься, токовать.
Ей — голосить и тосковать.

Как эти губы жарко шепчут:
»Зачем мне руки, груди, плечи?
К чему мне жить и печь топить
И на работу выходить?«

Ее я за плечи возьму —
Я сам не знаю, что к чему . . .

*Лобная баллада**

Их величеством поразвlechься
Прет народ из Коломн и Клязьм.
»Их любовница —
контрразведчица,
англо-шведско-немецко-греческая...«
Казнь!

Царь страшон: точно кляча, тощий,
Почерневший, как антрацит.
По лицу проносятся очи,
Как буксующий мотоцикл.
И когда голова с топорика
Подкатилась к носкам ботфорт,
Он берет ее
над толпою,
Точно репу с красной ботвой!

Пальцы в щеки впились, как клещи,
Переносицею хрустя,
Кровь из горла на брюки хлещет.
Он целует ее в уста.

Только Красная площадь ахнет,
Тихим стоном оглушена:
»А-а-анхен! . . .«
Отвечает ему она:

»Мальчик мой государь великий
не судить мне твоей вины
но зачем твои руки лепкие
солоны

*) После появления этой баллады партийные суки одетые в красные кожанки и возглавляемые критиком Назаренко понеслись за Вознесенским по грязным страницам »Звезды«.

... Ты худеешь. Ты не ходишь на завод,
ты их слушаешь,

как лунный садовод,
жизнь и боль твоя, как влага к облакам,
поднимается к наполненным зрачкам.

Говоришь: »Невыносима синева!
И разламывается голова!
Кто-то хищный и торжественно-чужой
свет зажег и поселился на постой...«

Ты грустишь — хохочут очи, как маньяк.
Говоришь — они к аварии манят.
Вместо слез —
иллюминированный взгляд.
»Симулирует«, — соседи говорят.

Ходят люди, как глухие этажи.
Над одной горят глаза, как витражи.

Сотни женщин их носили до тебя,
сколько муки накопили для тебя!
Раз в столетие

касается
людей
это Противостояние Очей! . .

... Возле моря отрешенно и отчаянно
бродит женщина, беременна очами.

Я под ними не бродил,
за них жизнью заплатил.

Осень в Сигулде

Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,

прощай, мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте.

леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли,

мы — люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
 так уж положено,
из стен,
 матерей
 и из женщин,
и этот порядок извечен,

прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,
друзья и враги, бывайте,
гуд бай,
из меня сейчас
со свистом вы выбегайте,
и я ухожу из вас,*

*) Эти последние 5 строк были недопущены в сборник
»Антимиры«.

о родина, попрощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была,

на стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки
входило прозренье, как
в резиновую
перчатку
красный мужской кулак,

»Андрей Вознесенский« — будет,
побыть бы не словом, не бульдиком,
еще на щеке твоей душной —
»Андрюшкой«,

спасибо, что в рощах осенних
ты встретила, что-то спросила
и пса волокля за ошейник,
а он упирался,
спасибо,

я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,
хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло басыла
пластинка блатного пошиба,
спасибо,

МАСТЕРА

ПОЭМА ИЗ СЕМИ ГЛАВ С РЕКВИЕМОМ
И ПОСВЯЩЕНИЯМИ

Первое посвящение

Колокола, гудошники . . .
Звон. Звон . . .

Вам,
Художники
Всех времен!

Вам,
Микеланджело,
Барма, Дант!
Вас молниєю заживо
Испепелял талант.

Ваш молот не колонны
И статуи тесал —
Сбивал со лбов короны
И троны сотрясал.

Художник первородный —
Всегда трибун.
В нем дух переворота
И вечно — бунт.

Вас в стены муровали.
Сжигали на кострах.
Монахи муравьями
Плясали на костях.

Искусство воскресало
Из казней и из пыток
И било, как кресало,
О камни Моабитов.

I

Жил-был царь.
У царя был двор.
На дворе был кол.
На колу не мочало —
Человека мотало!

Хвор царь, хром царь,
А у самых хором ходит вор и бунтарь.
Не туга мощна,
Да рука мощна!
От деревни мутит.

Он царевне свистит.

И ударил жезлом
и велел государь,
Чтоб на площади главной
Из цветных терракот
Храм стоял семиглавый —
Семиглавый дракон.

Чтоб царя сторожил.
Чтоб народ страшил.

II

Их было смелых — семеро,
Их было сильных — семеро,
Наверно, с моря синего
Или откуда с севера,

Где Ладога, луга,
Где радуга-дуга.

Они ложили кладку
Вдоль белых берегов,
Чтоб взвились, точно радуга,
Семь разных городов.

Как флаги корабельные,
Как песни коробейные.

Один — червонный, башенный,
Разбойный, бесшабашный.
Другой — чтобы, как девица,
Был белогруд, высок.
А третий — точно деревце,
Зеленый городок!

Узорные, кирпичные,
Цветите по холмам . . .
Их привели опричники,
Чтобы построить храм.

III

Кудри — стружки,
Руки — на рубанки.
Яростные, русские,
Красные рубахи.

Ухали »Дубинушку« —
Площади дрожали,
Ухари — детинушки,
Силушку сдержали бы.

Очи — ой, отчаянны!
При подобной силе —
Как бы вы нечаянно
Царство не спалили! . .

Бросте, дети бисовы,
Кельмы и резцы.
Не мечите бисером
Изразцы.

IV

Не памяти юродивой
Вы возводили храм,
А богу плодородия,
Его земным дарам.

Здесь купола — кокосы,
И тыквы — купола.
И бирюза кокошников
Окошки оплела.

Сквозь кожуру мишурную
Глядело с завитков,
Что чудилось Мичурину
Шестнадцатых веков.

Диковины кочанные,
Их буйные листья,
Кочевников колчаны
И кочетов хвосты.

И башенки буравами
Взвивались по бокам,
И купола булавами
Грозили облакам!

И москвичи молились
Столь дерзкому труду —
Арбузу и маису
В чудовищном саду.

V

Взглянув на главы-шлемы,
Боярин рек:
— У, шельмы,
В бараний рог!
Сплошные перламутры —
Сойдешь с ума.
Уж больно баламутны
Их сурик и сурьма . . .

Купец галантный,
Куль голландский,
Шипел: — Ишь, надругательство,
Хула и украшательство.

Ярышка — кочерыжка
Бубнил без передышки:

Нашел уж царь работничков —
Смутьянов и разбойничков!
У них не кисти,
А кистени.
Семь городов, антихристы,
Задумали они.
Им наша жизнь — кабальная,
Им Русь — не мать!

... А младший у кабатчика
Все похвалялся, тать,
Как в ночь перед заутреней,
Охальник и бахвал,
Царевне
Целомудренной
Он груди целовал...

И дьяки присные,
Как крысы по углам,
В ладони прыснули:
— Не храм, а срам!..

... А храм пылал вполнеба,
Как лозунг к мятежам,
Как пламя гнева —
Крамольный храм!

От страха дьякон пятился,
В сундук купчишко прятался.
А немец, как козел,
Скакал, задрав камзол.
Уж как ты зол,
Храм антихристовый!..

А мужик стоял да подсвистывал,
Все посвистывал, да поглядывал,
Да топор
рукой все поглаживал...

VI

Холод, хохот, конский топот да собачий звонкий
лай.

Мы, как дьяволы, работали, а сегодня — пей
гуляй!

Гуляй!
Девкам юбки заголяй!

Эх, на синих, на глазурных да на огненных
санях . . .

Купола горят глазуньями на распахнутых снегах.
Ах! —
Только губы на губах!

Мимо ярмарок, где ярки яйца, кружки, караси.
По соборной, по собольей, по оборванной Руси —
Эх, еси —
Только ноги уноси!

Завтра новый день рабочий грянет в тысячу ладов.
Ой вы, плотнички, пилите тес для новых городов.
Го-ро-дов?
Может, лучше — для гробов? . .

VII

Тюремные стены.
И нем рассвет.
А где поэма?
Поэмы — нет.

Была в семь глав она —
Как храм в семь глав.
А нынче безгласна —
Как лик без глаз.

Она у плахи.
Стоит в ночи.

.
И руки о рубахи
Отерли палачи.

Реквием

Вам сваи не бить, не гулять по лугам.
Не быть, не быть, не быть городам!

Узорчатым башням в тумане не плыть.
Ни солнцу, ни пашням, ни соснам — не быть!

Ни белым, ни синим — не быть, не бывать.
И выйдет насильник губить-убивать.

И женщины будут в оврагах рожать,
И кони без всадников — мчаться и ржать.

Сквозь белый фундамент трава прорастет.
И мрак, словно мамонт, на землю сойдет.

Растерзанным бабам на площади выть.
Ни белым, ни синим, ни прочим —
не быть!

Ни в снах, ни воочию — нигде,
никогда . . .

Врете,
 сволочи,
Будут города!

Сверкнут меж холмов
Семицветьем всем
Не семь городов,
А семижды семь!

Над ширью вселенской
В лесах золотых,
Я,
Вознесенский,
Воздвигну их!
Я — парень с Калужской,
Я явно не промах,
В фуфайке колючей,
С хрустящим дипломом.
Я той же артели,
Что семь мастеров.
Бушуйте в артериях,
Двадцать веков!
Я тысячерукий —
руками вашими,
Я тысячеокий —
очами вашими.
Я осуществляю в стекле и металле,
О чем вы мечтали,
о чем — не мечтали...
Я со скамьи студенческой
Мечтаю, чтобы зданья
ракетою
столупенчатой
взвивались
в мирозданье!
И завтра ночью тряскою
в 0.45
я еду
Братскую
осуществлять!
... А вслед мне из ночи
Окон и бойниц
Уставились очи
Безглазых глазниц.

1959

Последняя электричка

Мальчишки с финками, девочки с »фиксами« . . .
Две проводницы дремотными сфинксами . . .

В вагоне спят рабочие,
Вагон во власти сна,
А в тамбуре бормочет
Нетрезвая струна . . .

Я еду в этом тамбуре,
Спасаясь от жары.
Кругом гудят, как в таборе,
Гитары и воры.

И как-то получилось,
Что я читал стихи
Между теней плечистых,
Окурков, шелухи.

У них свои ремесла.
А я читаю им,
Как девочка примерзла
К окошкам ледяным.

Они сто раз судились,
Плевали на расстрел.
Сухими выходили
Из самых мокрых дел.

На черта им девчонка?
И рифм ассортимент?
Таким как эта — с чолкой
И пудрой в сантиметр?!

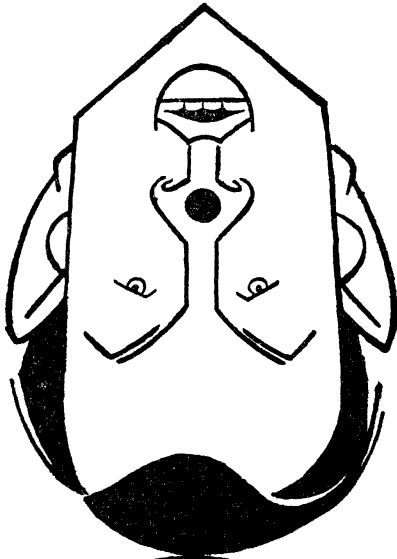
Стоишь — черты спитые.
На блузке видит взгляд
Всю дактилоскопию
Малаховских ребят . . .

Чего ж ты плачешь бурно?
И, вся от слез светла,
Мне шепчешь нецензурно —
Чистейшие слова? ..

И вдруг из электрички,
Ошеломив вагон,
Ты

чище
 Беатриче
Сбегаешь на перрон.





СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<i>Предисловие</i>	5
<i>Оза</i>	13
<i>Возвращение в Сегулду</i>	38
<i>Олененок</i>	41
<i>Римские праздники</i>	43
<i>Мотогонки по вертикальной стене</i>	46
<i>Лирическая религия</i>	47
<i>Пожар в архитектурном институте</i>	48
<i>Латышский набросок</i>	50
<i>Бьют женщину</i>	51
<i>Отзовись!..</i>	53
<i>Свадьба</i>	54
<i>Ирена</i>	55
<i>Горный родничок</i>	56
<i>Стриптиз</i>	57
<i>Первый лед</i>	59
<i>Бьет женщина</i>	60
<i>Как всегда перед дорогой</i>	61
<i>Длиноного</i>	62
<i>Песня Офелии</i>	64
<i>Новогоднее письмо в Варшаву</i>	65
<i>Сибирские бани</i>	66
<i>Ты с теткой живешь...</i>	67
<i>Тайга</i>	68

<i>Гитара</i>	69
<i>Итальянский гараж</i>	71
<i>Кто мы...</i>	72
<i>Б. Ахмадулина</i>	74
<i>Туманная улица</i>	75
<i>Параболическая баллада</i>	76
<i>Лежат велосипеды</i>	78
<i>Сидишь беременная</i>	79
<i>Тбилиссские базары</i>	80
<i>Торгуют арбузами</i>	81
<i>Охота на зайца</i>	82
<i>Грузинские березы</i>	85
<i>Я сослан в себя</i>	86
<i>Загорская лавра</i>	87
<i>Кассирша</i>	88
<i>Из окна самолета</i>	89
<i>Вечеринка</i>	90
<i>Ахиллесово сердце</i>	91
<i>Замерли</i>	92
<i>Качка</i>	93
<i>Баллада точки</i>	94
<i>Тишины</i>	95
<i>Вечер на стройке</i>	96
<i>Антимиры</i>	97
<i>Прощание с Политехническим</i>	99
<i>Ода сплетникам</i>	102
<i>Марше О Пюс</i>	104
<i>Осень</i>	107
<i>Гойя</i>	108
<i>Кроны и корни</i>	109
<i>Рублевское шоссе</i>	110
<i>Лобная баллада</i>	111

<i>Противостояние очей</i>	112
<i>Осень в Сигулде</i>	114
<i>Мастера (Поэма)</i>	117
<i>Последняя электричка</i>	126
<i>Поза-Пародия</i>	129

»...В заключение вернусь к критике. Без нее мы »веревки« не сошьем. В подтверждение этого передам свой разговор со знатоком леса. Я его спросил, почему в подмосковных и владимирских лесах, в которых мне приходится бывать уже десяток лет, не водятся зайцы?

— Почему?! Да потому, что волков и лис перевели.

— Странно! Они же уничтожали зайцев?!

— Парадоксально, но — факт!

Как известно, зайцы живут колониями, расположенными далеко друг от друга. Лисы и волки, охотясь на зайцев, гнали их десятки километров. Наиболее сильные, выдержавшие состязание в беге, приживались потом в других колониях и обновляли породу. При отсутствии волков и лис этот естественный обмен между колониями нарушился. Началась деградация породы, нарушились санитарные нормы, что привело к повальному заражению.

Довольно поучительный пример. Да простят мне за него критики. Но этим примером мне хотелось предостеречь товарищей поэтов от судьбы бедных зайчишек.

Зайца нужно гнать!«

(День поэзии 1965, стр. 184)

Книга День поэзии 1965 высылается по почте издательством Флегон Пресс.
Цена 15 шиллингов.